



СТАЛЬНОЕ БРАТСТВО

КУРСКАЯ ДУГА

ДЕНИС ГРОМОВ

Денис Громов

Стальное братство. Курская дуга.

«Тайниковский»

2026

Громов Д.

Стальное братство. Курская дуга. / Д. Громов —
«Тайниковский», 2026

Весна тысяча девятьсот сорок третьего года. Эшелон везёт роту капитана Родина туда, где через несколько недель сойдётся крупнейшее танковое сражение в истории войны, — на Курскую дугу. Родин — человек, который полтора года назад очнулся в лесу под Вязьмой, не помня о себе почти ничего, — везёт с собой не только машины. Он везёт то, чем заменил утраченную память: Ковальчука с жестяной коробкой вырезанных фронтовых сводок о Смоленске; Сёмина с детским рисунком в нагрудном кармане; Антипова, который пишет жене каждую неделю, как заступают в наряд. Дорога проходит совсем рядом с его домом — по мосту через реку, которую он помнит не по документам, а по снам. Впереди — сорок вёрст немецкой обороны, четыре линии траншей одна за другой и новые тяжёлые танки противника, которых не берёт лобовая броня. Обе стороны знают: решится многое. «Огненная дуга» — вторая книга романа «Стальное братство» о людях, которых война лишила прошлого и наделила единственным, что осталось: друг другом.

© Громов Д., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Денис Громов

Стальное братство. Курская дуга.

Глава 1

Эшелон шёл на юг четвёртые сутки.

Родин стоял у приоткрытой двери теплушки, держась за деревянный брус, набитый поперёк проёма, и смотрел, как из предрассветной серости выступает страна. Земля ещё держала ночной туман — он лежал в низинах ровными молочными озёрами, и лесополосы выходили из него по частям: сначала верхушки, потом стволы, потом тень под стволами. Восток розовел скупно, по-апрельски, без обещаний. Пахло углём, мокрой землёй и креозотом шпал — запахом дороги, который за четверо суток вьёлся в шинель, в хлеб, в самый сон.

Колёса стучали на стыках ровно, привычно. Этот стук давно перестал быть звуком и стал свойством мира — как дыхание, которое замечаешь, только когда оно сбивается.

Позади их вагона тянулись платформы. Машины стояли зачехлённые, по-походному: брезент, схваченный расчалками, серел от инея, стволы в надетых чехлах смотрели назад по ходу. Между платформами, у тормозной площадки, топтался часовой в тулупе не по сезону — апрель апрелем, а ночью, на ветру, на полном ходу зима возвращалась быстро. Родин смотрел на серые горбатые силуэты под брезентом и думал, что со стороны, с какого-нибудь переезда, эшелон похож на спящее стадо — большое, железное, укрытое на ночь попонами.

Двадцать платформ. Две роты первого батальона — его и Засимова. Остальная бригада шла следом, другими эшелонами, с интервалом в сутки.

Куда — не говорил никто. Но эшелон четвёртые сутки шёл на юг, и этого хватало, чтобы в вагонах вполголоса произносили одно и то же слово.

Полтора года прошло с того октябрьского леса под Вязьмой, где он очнулся человеком без прошлого. Считать время Родин начал недавно — раньше было не до счёта, а теперь, в дороге, оно само раскладывалось на отрезки, как маршрут на карте. Осень сорок первого: котёл, выход, Серпухов. Первая зима: Кашира. Сорок второй: Кривцово, болото, Жиздра, плацдарм. Потом вторая зима — и о ней думать было тяжелее всего.

Всю зиму они простояли и провоевали на всё той же Жиздре. Брали Дретово — отдавали Дретово. Брали высоту сто шестнадцать — и через две недели смотрели на неё уже снизу, из низины, по которой методично, по часам, работали немецкие миномёты. Фронт там будто врос в снег. Обе стороны вцепились в одни и те же деревни, и деревни эти к февралю перестали быть деревнями — остались названия на карте да печные трубы на местности. В тех боях рота сточилась, как стачивается зубило о камень: медленно, буднично, без единого дня, про который можно было бы сказать — вот здесь случилось главное. Главного не случилось. Случилась зима.

В феврале сгорел Рябов.

Тот самый Рябов, который ещё под Каширой потерял машину и двоих людей, лежал потом с обожжёнными руками и говорил: найдётся машина. Машина нашлась — осенью, новая, и всю зиму он воевал на ней ровно и зло, а в февральскую метель у высоты сто шестнадцать её взяла в борт самоходка, которую в белой мгле не увидел никто — ни он, ни соседи, ни Родин, стоявший в трёхстах метрах левее. Из экипажа выскочил один заряжающий.

Родин записал Рябова в тетрадь — в ту, что завёл после Протасова. «Рябов, капитан. Горел дважды. Про первую свою машину сказал: найдётся. Нашлась. Был настойчив — не крикливой настойчивостью, а рабочей». Записи выходили короткие, похожие на зарубки, и

он не стремился к другому. Тетрадь была не для чтения. Она была для того, чтобы имена не оставались только в штабных списках безвозвратных потерь.

В марте бригаду наконец вывели. От роты к тому времени оставалось четыре машины из десяти. Под Тулой, в тыловом лагере среди соснового мелколесья, приняли пополнение — людей и технику, — пришили новые погоны, к которым ладонь ещё тянулась с непривычки, и три недели гоняли слаживание: посадка по тревоге, стрельбы с коротких остановок, вождение по разбитому полигону, где ямы были честнее любых слов. А потом ночью пришёл приказ на погрузку.

И эшелон пошёл на юг.

Родин обернулся в глубину вагона.

Теплушка жила своей устоявшейся четырёхсуточной жизнью. Нары в два яруса по обе стороны, посередине — буржуйка на листе кровельного железа, при ней ящик с углём и ящик с песком. Под потолком, на проволоке, сохли портянки; фонарь «летучая мышь», привёрнутый до синего лепестка, покачивался в такт стыкам. Спали вповалку, в шинелях, подложив под головы вещмешки, и вагон дышал — многогласно, вразнобой, но с тем общим глубоким звуком, какой бывает только там, где спят по-настоящему уставшие люди.

Антипов лежал на верхних нарах лицом к стене, и из-под его щеки торчал уголок конверта — с письмом он и спал, не прятал. Ответ от жены догнал их ещё под Тулой. Что там было написано, Родин не спрашивал, но Антипов в тот вечер ходил по расположению так, словно внутри у него зажгли лампу, а потом не выдержал, подошёл и показал одну строчку, прикрыв остальное ладонью: «Дурак ты у меня, Коля. И я тебя люблю». — «Вот, — сказал он с непонятной гордостью. — Дурак». С тех пор он писал ей каждую неделю, по расписанию, как заступают в наряд, и от прежнего мальчишеского в этом обычае оставалось только упрямство.

Сёмин спал внизу, на спине, сложив на груди тяжёлые руки. В левом нагрудном кармане у него — Родин знал — лежал сложенный вчетверо лист: рисунок химическим карандашом. Танк с трубой, из трубы дым завитками, под танком крупные валкие буквы — ПАПА. Катя рисовала. Письмо из-под Воронежа пришло в конце февраля, через справочные столы и эвакуопункты: жена с дочерью ушли за Дон ещё летом сорок второго, когда город стал фронтом, и осели в селе со смешным названием Хреновое. Антипов, услышав, хмыкнул было, но Сёмин посмотрел на него ровно и сказал: «Село как село. Лошади там знаменитые». И никто больше не смеялся. С того письма Сёмин снаружи не переменялся ни в чём — так же молчал, так же чинил всё, что попадало в руки, — только ушло из его молчания то каменное, что стояло в нём всю осень, пока Воронеж был в сводках, а писем не было.

Ковальчук не спал.

Он сидел у печки на чурбаке, подкладывал уголь по одному куску, как в часы кладут завод, и читал газету — недельной давности, добытую на какой-то станции. Читал он в газетах всегда одно: сводки. Квадратики со сводками Совинформбюро, где поминалось западное направление и смоленские названия, он аккуратно, ногтем по линейке, отделял и складывал в жестяную коробку из-под монпансье. Никому не объяснял. Никто и не спрашивал. Смоленск стоял за линией фронта второй год; мальчику Ковальчука было теперь девять, девочке двенадцать — если считать года. Ковальчук считал.

Под Тулой их догнала и другая почта. Дёмин писал из-под Ленинграда — короче обычного и твёрже обычного: жив, произведён в сержанты, принял отделение. «Тут болота, товарищ капитан, и тихо. Только я этой тишине не верю — она у них перед делом всегда. Про Крым помню. Теперь, выходит, уже скоро». Родин усмехнулся тогда этому «скоро», написанному человеком из болот, от которых до всякого Крыма была тысяча вёрст войны, и ответил в тот же вечер: «Тишине верь ровно наполовину. Крым дождётся».

Он вернулся к двери, к серому рассвету, и думал о странном — о том, чего не стало.

Тот холодный поток знаний, что открылся в нём в первые дни под Вязьмой — карта в голове, цифры, позиции, чужая память, вшитая отдельно от него самого, — тот поток за последний год стих. Родин не заметил когда. Просто однажды, ещё осенью, поймал себя на том, что смотрит на карту как все: глазами, циркулем, с сомнением, с поправкой на то, что разведка могла ошибиться. Знание больше не приходило само. Приходил опыт — а это было другое: опыт был тёплый, свой, заработанный, с именами и с ценой. Зато с той стороны, из-за белого экрана, всё чаще пробивалось живое. Берег. Голос дяди Петра. Скрип колодезного ворота. Вкус печёной картошки из золы — обжигающий, детский, с угольком, который выплёвываешь и смеёшься.

Память возвращалась не фактами. Она возвращалась веществом.

Иногда он думал: может, то, вшитое, было костылём. Пока своего не было — стояло чужое, чтобы человек не упал. Своёросло — костыль убрали. Проверить это было нельзя, да и незачем. Он давно перестал допрашивать собственную голову. Голова, как выяснилось, отвечает не на вопросы — она отвечает на жизнь.

К полудню пятых суток эшелон втянулся в Елец.

Город открылся издалека — собором. Огромный, пятиглавый, он стоял над рекой и над крышами так, что всё остальное казалось приложенным к нему позже. Купола были в оспинах от осколков, звонница молчала, но собор стоял, и рядом с ним разбитая станция, обгорелые пакгаузы, водокачка с заплатой из свежих досок выглядели не смертью города, а его раной. Раненый город — живой город. Мёртвые не болеют.

Стояли долго, пропуская встречную санитарную летучку. У кипятильника выстроилась очередь с котелками и чайниками; по перрону ходил комендантский патруль; бабы в тёмных платках продавали с рук варёную картошку и солёные огурцы — и тут же, не торгуясь, совали мальчишкам-новобранцам из соседнего эшелона так, даром, из тех же ведёр. Антипов сбегал за кипятком и принёс полный чайник и новость:

— Говорят, на Курск идём, товарищ капитан. Комендантские говорят — туда сейчас все идут. День и ночь.

— Курск так Курск, — сказал Родин.

Слово это уже который день ходило по эшелону вместе с другим, которое произносили тише, — «дуга». Родин видел её на карте у комбрига ещё под Тулой: линия фронта выгибалась на запад огромным горбом, на полторы сотни вёрст в глубину, и в этом горбе, как в подкове, лежал Курск. С севера над подковой висел Орёл. С юга — Белгород. Не требовалось никакого особого знания — ни старого, вшитого, ни нового, заработанного, — чтобы понять, как смотрит на эту подкову немецкий штаб. Так смотрят на ветку, которую можно срезать одним движением у основания.

После Ельца дорога пошла через мост.

Родин стоял у двери. Река открылась внизу неожиданно широкой — полая апрельская вода вышла на луга, и ивы стояли в ней по колено, отражаясь ветками в собственной тени. Снизу пахло — водой, тальником, разбуженной землёй, — и запах этот вошёл в него раньше всякой мысли, ударил под сердце, и Родин ещё ничего не успел понять, а рука уже сжала брус до белых костяшек.

Он знал эту реку.

Не по письмам — хотя и по письмам тоже: мать писала «наша Сосна», писала про луга, про то, как дядя Пётр ставит по весне вентеря. Но сейчас было не из писем. Сейчас был берег — тот самый, из снов и коротких вспышек: высокая трава, тёплая вода у шиколоток, «не лезь глубоко, Алёша». Он смотрел на разлив, на затопленный тальник и понимал с совершенной, телесной ясностью: это она. Его река. Выше по течению или ниже — но она.

Малые Ключи стояли где-то там, за разливом, к западу. По письмам, по расспросам он давно высчитал: от Ельца — вёрст семьдесят, от Ливен — двадцать. Час танкового марша, если бы танки ходили в гости.

Поезд простучал по мосту и пошёл дальше, на юг. Река ушла назад вместе со своим запахом, и луга закрылись насыпью.

Ковальчук оказался рядом — Родин не слышал, как он подошёл. Стоял и смотрел на уходящую воду.

— Дом? — спросил он.

— Дом, — сказал Родин. — Семьдесят вёрст.

Ковальчук кивнул — медленно, один раз. Его собственный дом был втрое дальше, и между его домом и им стоял фронт. Они постояли у двери вдвоём, глядя каждый на свои вёрсты, и разговора у них больше не случилось, потому что он был не нужен.

Вечером, на долгой стоянке, Родин написал матери. Коротко, как всегда: жив, здоров, весна. В конце, поколебавшись, приписал правду: «Сегодня проезжал Елец. Видел нашу Сосну — вода нынче большая. Был близко». Подумал, что она будет плакать над этой строчкой, и чуть не вычеркнул. Оставил. Пусть лучше плачет над «был близко», чем гадает над пустым местом.

На узловой — разбитой ещё зимними боями и с тех пор наспех сшитой из шпал, рельсов и обгорелого кирпича — эшелон проверяли.

Вдоль вагонов шли двое: знакомый бригадный уполномоченный и с ним новый человек — невысокий, аккуратный, в ладно подогнанной шинели. Он двигался неторопливо, ни на кого не давил, но Родин заметил: там, где он останавливался, разговоры сами собой делались тише. У их теплушки новый козырнул первым.

— Капитан Замятин. Контрразведка бригады. — И, помедлив: — Теперь это, впрочем, называется по-новому. Привыкаем к слову.

— Капитан Родин. Первая рота.

— Знаю, — сказал Замятин без нажима. — Читал.

Он не стал уточнять, что именно читал, да это и не требовалось. Личное дело Родина было из тех, что читают со вниманием: выход из вяземского котла, контузия, амнезия, тридцать один человек, фильтрация, характеристики, представления. Папке шёл второй год, и всё равно каждый новый человек этой службы рано или поздно доходил в ней до слова «память» — и поднимал глаза.

Замятин поднял.

— Не вернулась? — спросил он просто, без обиняков.

— Возвращается. Кусками. Довоенное, детское. Служба до сорок первого — нет.

— А воюете, судя по делу, без пробелов. — Замятин произнёс это ровно, не как комплимент и не как подначку — как запись в протоколе. По одной этой ровности Родин понял: человек серьёзный. — Ладно, капитан. Служба у меня такая — интересоваться. Вы не обижайтесь.

— Служба понятная. Не обижаюсь.

Замятин глянул на него коротко — будто попробовал слово на зуб, настоящее ли, — кивнул и пошёл дальше вдоль состава, к платформам, где часовые уже вытягивались ему навстречу.

Родин смотрел вслед без тревоги, но и без лёгкости. За полтора года он привык к вниманию этого рода, как привыкают к сквозняку из щели: не опасно, пока здоров, но чувствуешь всегда. Человек без памяти на войне обязан быть прозрачным. Он и был прозрачным — весь, кроме той белизны, которую сам в себе прочесть не мог. И всякий раз, когда чужие глаза упирались в эту белизну, хотелось одного: чтобы смотрели не туда, а на дело. Дело у него было в порядке.

За узловой началась прифронтовая дорога.

Это чувствовалось во всём. Насыпь пошла в свежих заплатах: воронки у полотна были засыпаны и утрамбованы, но трава на них ещё не взялась, и рыжие пятна тянулись вдоль пути, как следы ожогов. На разъездах стояли зенитные платформы — счетверённые «максимы» смотрели в небо, расчёты спали тут же, под стволами, не раздеваясь. Семафоры не работали; эшелоны шли по жезлам, от станции к станции, короткими перебежками, как пехота под огнём. Днём состав загоняли под прикрытие лесополос, затягивали ветками. Шли — ночами.

И всё равно не убереглись.

На вторые сутки после узловой, перед самым рассветом, эшелон встал в чистом поле: впереди, километрах в восьми, бомбили станцию. По инструкции полагалось рассредоточиться, и люди скатывались с насыпи в кювет, в мокрую холодную траву. Родин остался у полотна.

Горизонт на юге вспыхивал — не резко, а тяжело, погружённо, как вспыхивает гроза за толщей туч. Звук доходил толчками, через землю больше, чем через воздух. В светлеющем небе над станцией ходили самолёты — отсюда крошечные, медленные, почти ленивые, и от этой ленивости было хуже всего: они не торопились. Им никто не мешал. Зенитки со станции били редко и вслепую, трассы уходили в пустое серое небо и гасли.

Антипов лежал в кювете рядом и считал вслух, шёпотом:

— ...семь... восемь... Девятка, товарищ капитан. «Юнкерсы» девяткой ходят.

— Вижу.

— По путям кладут. По горловине.

Отработав, самолёты ушли на запад и растворились в сером. Столб дыма над станцией встал вертикально — чёрный внизу, рыжий по кромке — и уже не опадал. Когда через три часа эшелон медленно, шагом, протаскивали через узел, Родин смотрел из двери на горящие пакгаузы, на рельсы, взрывом скрученные в спираль и поднятые вместе со шпалами, на пожарных и солдат, баграми растаскивающих обрушенное. Пахло гарью и — густо, сладко, тошно — горелым зерном: горел элеватор. В вагоне молчали. Смотрели.

Дорогу немец видел так же ясно, как они сами. И понимал, куда она ведёт, ничуть не хуже.

Выгружались через ночь, на маленькой станции восточнее Курска; название её Родин прочитал уже после, на фанерной табличке комендатуры, при свете спички.

Ночь выдалась безлунная, работали без света. Аппарели наводили на ощупь, провололочные крепления рубили топорами — быстрее, чем раскручивать, — и машины сходили с платформ по одной, вслепую, по взмаху фонарика с синим стеклом. Ковальчук свёл их «тридцать-четвёрку» первой: коротко газанул, поймал пережат, мягко опустил корму — платформа даже не охнула. Машина была новая, нижнетагильская, с гранёной шестигранной башней и белым номером «117» на борту; Ковальчук за месяц объездил её так, что она слушалась его не как месячная — как своя, многолетняя.

К рассвету станции словно не касался никакой эшелон: танки ушли в рощу за три километра, под сети, платформы утянул паровоз, и только глубокие рубчатые следы на просёлке говорили о ночной работе. Следы велели убрать. Убрали просто: прогнали по просёлку колхозное стадо, которое и так гнали на восток, в тыл, — коровы шли равнодушно, местили грязь, и через час от роты на земле не осталось ничего, кроме коровьего.

Дальше шли три ночи, а днёвки стояли в рощах и балках, затянувшись сетями по самые стволы.

На второй днёвке Родин застал у второй машины обоих механиков разом. Кузов лежал под танком — наружу торчали одни сапоги; Ковальчук сидел рядом на корточках и держал переноску. Спор шёл снизу, глухо, из-под днища:

— ...перетянул, говорю. На пол-оборота перетянул. Она у тебя на левом повороте подвывает.

— Не подвывает, а поёт, — ровно отвечал Ковальчук. — Ей положено.

— Положено ей молчать.

Кузов выполз, сел, вытер руки ветошью — каждый палец отдельно, по всегдашней своей привычке, — увидел Родина и кивнул:

— Товарищ капитан. Вот. Спорим про музыку.

Плечо у него зажало — с виду совсем; только к дождю рука ныла, и на длинных перегонах Кузов незаметно, как ему казалось, перекладывал её на колено ладонью вверх, давая отдых. О ране он не говорил ни слова с самого возвращения: врачам сказал «не мешает», Родину сказал «держу», и по тому, как вторая машина шла у него на марше — след в след, без единого рывка, — выходило, что не соврал.

— До немца дойдём — доспорите, — сказал Родин.

— До немца дойдём — некогда будет, — сказал Кузов и полез обратно под днище.

Ковальчук чуть повернул переноску, чтобы снизу стало светлей. В этом движении — молчаливом, точном — умещалась вся их зима: два мастера при одном деле, признавшие друг друга без единого лишнего слова.

Там же, на днёвке, ротам раздали памятки.

Серые листки на плохой бумаге, ещё пахнувшие типографской краской: силуэт незнакомой машины в трёх проекциях — угловатой, широкой, с длинным, в тяжёлом дульном тормозе, стволом — и стрелки к бортам, к корме, к ходовой части. «Новый тяжёлый танк противника». Ниже — цифры брони, от которых в роще сделалось тише.

Антипов изучал листок долго и по-своему — как изучал прицел: не глазами, а всем собой.

— Товарищ капитан. Тут выходит — в лоб мы его не берём. Почти ни с какой дистанции.

— Выходит так.

— А он нас — с полутора тысяч.

— И это выходит так.

Антипов поднял на него взгляд. В глазах не было испуга — была арифметика. За полтора года войны он выучился у неё главному её жанру: считать честно и до конца.

— Значит — борт?

— Борт, корма, ходовая. Значит — подпускать. Значит — позиция, выдержка и первый выстрел наш. — Родин сложил листок вдвое и вернул ему. — Ничего нового, лейтенант. Просто цена выдержки стала выше.

Антипов спрятал памятку в нагрудный карман — туда же, где лежало письмо. Родин отметил про себя это соседство и ничего не сказал. Пусть лежат рядом: то, ради чего, — и то, из-за чего.

К назначенному району — северо-восточнее Курска — вышли на четвёртые сутки, перед рассветом, и с первого же светлого часа Родин понял, что земля здесь немолчная.

Слово подобралось не сразу. Он стоял на скате балки с биноклем, водил им от горизонта к горизонту и наконец понял: земля была копаная. Куда ни посмотри — всюду лежала свежая глина. Брустверы тянулись по скатам высот ломаными линиями, уходили за гребни, возвращались; ходы сообщения резали поля, как трещины режут лёд; на обратных скатах желтели свежесрубленные накаты блиндажей. В одной только полосе перед собой он насчитал четыре линии траншей, одну за другой, с промежутками в километр-полтора, и за четвёртой угадывалась пятая. Копали всюду и все. Копали солдаты. Копали — он видел в бинокль — бабы в тёмных платках, колоннами выходившие на рытьё из уцелевших деревень, и подростки, и старики; лопаты взблёскивали по всему полю, как рыба на перекате.

Фронт молчал. За три ночи марша Родин не услышал ни одного оружейного выстрела — лишь однажды, далеко на севере, простучал и смолк пулемёт, будто человек кашлянул в пустом храме. Но тишина эта не имела ничего общего с миром. Она была рабочая, ровная, натужная: тишина, в которой обе стороны, не прячась друг от друга, готовились — и каждая знала, что другая знает.

Под Вязьмой, полтора года назад, тишина была иной. Та была тишиной беды — брошенности, разорванной связи, одиночества посреди леса. Эту тишину никто не слушал сложа руки. Эту тишину — копали.

Рота встала в балке, в выжидательном районе, и к вечеру первого же дня вырылась: капониры под машины, основные и запасные, щели для экипажей, ровики под боеукладку. Земля бралась легко и держала отвесно. Сёмин, прыгнув в свежий капонир, поднял со дна ком, размял в пальцах — чёрный, жирный, тяжёлый чернозём, о котором Родин до сих пор только слышал, — и сказал со знанием, по-крестьянски взвесив ком на ладони:

— Хороша земля. По такой земле воевать — грех. По такой пахать надо.

— Отвоюем — вспашут, — отозвался сверху Антипов.

Сёмин посмотрел на ком ещё секунду и положил его на бруствер к остальной земле — не бросил, а положил. Отвечать словами он не стал. В том, как он его положил, ответ был.

Вечером Родин обошёл ротные позиции — все капониры, все щели, все ровики, — принял доклады взводных, отметил на схеме сектора и поднялся на гребень балки.

Солнце садилось за дугу — туда, где в сорока верстах стоял немец и где фронт, если верить карте, выгибался навстречу всей своей полуторастакилометровой подковой. Закат был долгий, спокойный, в полнеба. Поля лежали в нём розовые и чёрные: розовые от света, чёрные от свежей копаной земли, и линии брустверов уходили в этот закат одна за другой, сколько хватало глаз, — как борозды невиданной вспашки, которую вели не плугом.

Родин стоял и думал о том, что у войны иногда бывает до странности личная геометрия. Позади него, в двухстах верстах, текла Сосна и стояли Малые Ключи, где мать в этот час загоняла Зорьку и где на столе — он знал это, как знают наизусть, — всегда стояла лишняя чашка. Впереди, в сорока верстах, лежала немецкая сторона, и там, в своих балках, под своими сетями, так же стояли у машин другие люди и смотрели на этот же закат с другого края.

Между тем столом и этим закатом оставалась теперь только чёрная копаная земля. И они на ней.

Лето шло навстречу — большое, уже слышное в вечернем воздухе, в первых соловьях по балкам, в тёплом запахе прогретой за день брони.

Его оставалось дожидаться.

Конец первой главы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.